

два
рассказа

*Александр
Мелихов*



Первая дружба

ОЛЕЖКА остановился на горячем от солнца пороге, слегка даже пританцовывая – до того припекало; только у косяка было заметно, что порог когда-то начинал обыкновенным прямоугольным брусом, а не продолговатым седлом, как теперь. Мир был белым от солнца, некоторые вещи от белизны почти совсем исчезли, вылиняли до вечера; на других, как на рубашках, выцвели целые кляксы, большущие, как лужи. После сеней на них больно было смотреть, и Олежка из всех сил щурился, отчего

возле его глаз набежали морщинки, вроде тех, что собираются у завязки воздушного шарика, готовые бесследно исчезнуть. Когда он сощурился, вещи стали испускать разноцветные лучи, размываться сверху вниз. Так всегда бывало, он сколько раз пробовал.

Он посмотрел на небо и подумал: «Много неба». Но вслух не сказал – он уже научился думать про себя, когда не был слишком увлечён.

Постепенно глаза можно стало раскрыть пошире, он и раскрыл пошире, то

есть как всегда, поэтому, задумываясь, он казался испуганным. Он ещё раз взглянул на небо и подумал: «Ни фи-га!» – и обрадовался, как хорошо это у него получилось, и прошептал несколько раз: «Ни фи-га». С удовольствием прислушался к себе и улыбнулся. Улыбка, как и всякое дело, захватила его без остатка, сделав щёки, пока что свежие и чистенько промытые, ещё более привлекательными для взрослого щипка, – щёки, на которых, если дунуть, появлялась ямка, как на блюде с чаем. Но дряблости в них было не больше, чем в том же воздушном шарике. Он не был слишком толстым; родители толстых детей считали его даже чересчур худеньким. Правда, родители худеньких считали его слишком полненьким. В его лице было что-то тонкое и хрупкое, но это замечала только мама.

Вдруг он догадался, как устроено небо: оно накрывает землю как шапка, и он с удовольствием повторил одними губами всё разъясняющее слово: «Как шапка, как шапка».

Прищепки с раздвоенными хвостами уселись на бельевую верёвку, как ласточки. Рубашки, повешенные за руки, в отчаянии простёрли руки к небу. Другие безнадежно повисли, перевесившись животом, третьи раздувались пузом, как дедушка, и, вися вниз головой, бестолково отмахивались.

Поджимая пальцы на ногах, чтобы не прикасаться к горячей, растрескав-

шейся земле, Олежка отправился к ручью за домом, стараясь наступать на жиденькие кусты пыльной травы. Но возле ручья трава заструилась густой мягкой благодушной бородой, и немедленно подошвы исчезли для него, а только что в них сосредоточивалось всё его существо.

В ручье как-то грудью пёрла, валила прозрачная вода, шевеля на дне траву, такую же, как на берегу, но взлохмаченную, будто её сначала вымыли с мылом, а потом вытерли полотенцем. Над дном катило медленно извивающуюся чёрную ленту – пиявку, совсем возле берега. Дурак он, что ли, – не поймать пиявку! И всё его существо тут же переселилось в пиявку.

На концах у неё два пяточка, как у свиньи, но один конец широкий, а другой почти острый. В руках она всё время выщупывает что-то острым концом, прихвывается, слепо присматривается. В тонких местах она ребристая, как шланг от противогаза, – противогаз он видел у Димаса, – а в толстых – сочно морщинистая, как человеческая губа. Он попробовал, одновременно ощупывая пиявку и губу, сравнить их, но ничего не разобрал.

Держишь пиявку, а она то мягкая, как кисель, а то вдруг окажется между пальцами резиновый комочек в ней, и она перегоняет между ними резиновый комочек за комочком, смотришь – и вылезла, надо снова перехватывать.

Александр Мелихов – прозаик, публицист, литературный критик, гл. редактор журнала «Нева». Родился (1947) в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики. Кандидат физико-математических наук. Автор романов, повестей, рассказов, которые переведены на английский, немецкий, итальянский, венгерский, польский, корейский, китайский языки. Лауреат более двух десятков литературных премий, в том числе – им. Фазиля Искандера (2022), «Неистовый Виссарион» (2024).

– Укуси, – попросил её Олежка, поёживаясь от интереса и страха, даже щекотно стало, – и она послушалась, приклеилась к ладошке пяточком. А вдруг теперь не оторвёшь! Он потянул её за хвост, она натянулась, как шнурок от ботинка, но не выдержала и отпустилась.

«Характер подвёл», – подумал про неё Олежка. Но она снова начала его ощупывать, и это теперь его беспокоило. Он захотел стряхнуть её, но она прилипла, и он, не выдержав, затряс рукой с ужасом и отчаянием. Пиявка шлёпнулась в ручей и, как ни в чём не бывало, поволоклась дальше, немедленно исчезнув для него, потому что он уже стал рассматривать в заводи клопа-водомерку.

– Хищник, – с уважением прошептал Олежка. Это ему сказал Костя, он их проходил по разделу «Животные и растения мелких водоёмов». «Пусть укусит», – замирая от отчаянности, подумал Олежка и, как головой в прорубь, схватил клопа ладошкой. Долго рассматривал пухлую ладошку, не понимая, как она могла оказаться пустой. Посмотрел в бухточку – клоп преспокойно сидел там.

– Ха-ха-ха, сидит такой, – засмеялся Олежка и изобразил, как клоп сидит себе преспокойненько и, важничая, крутит головой туда-сюда, будто ему и дела нет, что его хотят схватить. На этот раз Олежка долго целился, но клоп в последний миг словно исчезал и тут же возникал чуть в стороне.

Олежка вспомнил, что клоп – хищник, и решил приманить его крошечной мушкой, сидевшей на застывшей травянисто-студенистой зелёной пене у берега. Мушку поймал легко: сначала навёл на неё тень головы, чтобы она потом не испугалась тени ладошки, хватъ – и поймал.

Он так и этак подсовывал мушку клопу, но тот и не глядел в её сторону. «Не ест сухопутных животных», – догадался Олежка. И решил в последний раз попробовать ухватить-таки неуловимо проворного клопа.

– Последний раз! – предупредил он

себя и шлёпнул по воде так, что весь усыпал себя брызгами, осторожно раскрыл ладошку – ни хвоста. «Ну ладно, теперь самый последний раз», – позволил себе Олежка и снова цапнул по воде. «То был последний раз, – рассудил Олежка, – а теперь будет последний разочек», – и снова шлёпнул. И снова мимо. А теперь самый последний, а теперь ещё последнее, а теперь самый-самый, а теперь самый-самый-самый-самый, а потом, уже не зарекаясь, хватал до тех пор, пока с водяным мусором не увидел на ладошке узенькую семечку с иголочными лапами.

– Как семечка, – пробормотал Олежка – он с начала ловли уже думал вслух – и осторожно стряхнул клопа в воду. Клоп сидел неподвижно. «Контузило», – понял Олежка.

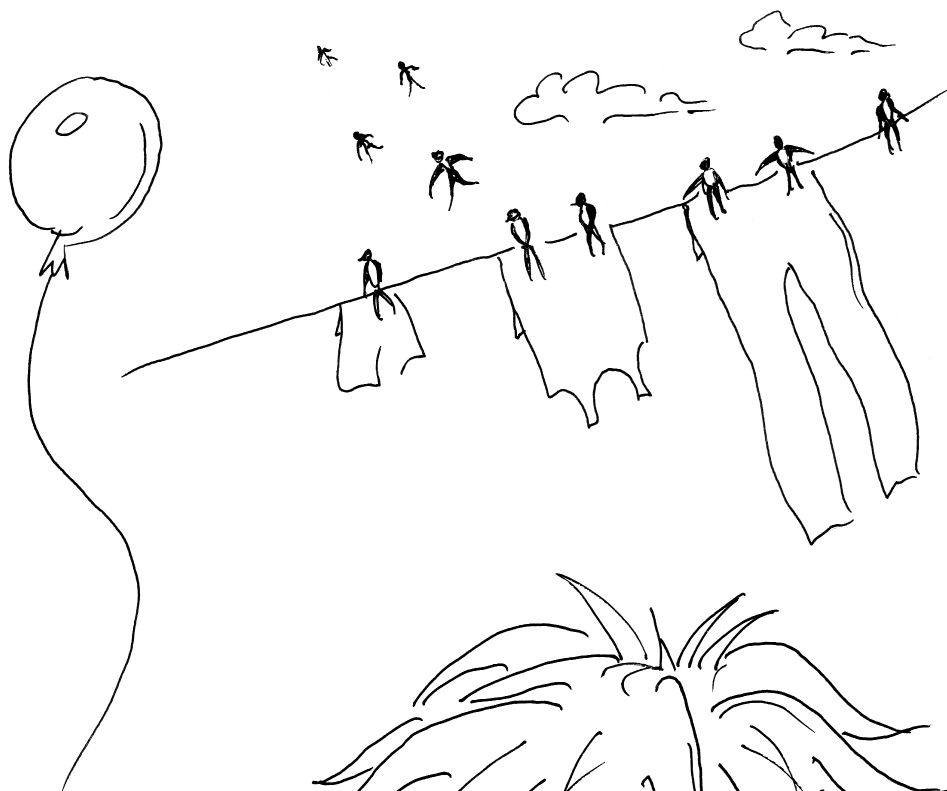
К счастью, он вспомнил, что раны зализывают слюнями, и принялся плевать в клопа, но не попасть было. Истратил все жидкие слюны, пошли уже густые, как пенистый клей, что уже и не плевались, а только разбрызгивались мелко... К счастью, клоп тем временем выздоровел сам.

За домом зашумела машина, – к их домам они редко подъезжают, – и Олежка бросился посмотреть. «Москвичок». Легковушка-лягушка. Можно попроситься, чтоб покатали, но это была зелёная, а, он замечал, берут только синие.

Интересно, легковушки кто-то сделал или они сами в природе были? Находящихся же лягушек никто не сделал, они сами родились.

Раз уж снова оказался возле дома, Олежка решил зайти поклониться чего-нибудь у бабушки. Но у порога чуть не полетел от толчка в спину, отчего по его лицу метнулся ужас, мигом растворившийся без осадка в радостной улыбке.

– Кольбен! – восторженно-мечтательно протянул он. – Ты, к счастью, меня, наконец, нашёл. – Он часто выражался «по-взрослому», и взрослые смеялись, слыша от него выражения, услышанные им от них же. Это, в самом деле, был Колька, кривлявшийся



M. Akhat

не только лицом, — даже на пыльный живот то набегала, то пряталась складочка, похожая на неискреннюю растянутую улыбку.

Олежка сиял от счастья. А Колька уже дразнился — да как! — всё стихами, всё стихами!

— А ты обзывайся больше, — укоризненно попросил не дразниться Олежка. — Знаешь, кто обзывается, тот так и называется, — робко напомнил он.

— Олежанный-бесштаный, Олежиче-дурачище, — сладко выводил Кольбен, будто и не слышал.

И Олежка вспомнил новейшее средство.

— Синяя улица, дом петуха, кто обзывается — сам на себя, — заспешил он, заранее радуясь, что Кольбену против этого нечего будет возразить, потому что сам же он Олежку и обучил этому заклинанию.

— Нескладно — у тебя в трусах прохладно, — мгновенно среагировал Кольбен и продолжал петь-разливаться, заходясь до поросячьего визга: — Олежон-дуромон, Олержора-мухомора.

— Ты же сам говорил, — дрогнувшим от огорчения голосом напомнил Олежка. — Синяя улица, дом петуха... — Он хотел остановиться, но он не умел не договаривать до конца, помолчит секунду, потерпит, а потом-таки докончит, хоть вполголоса. — Кто обзывается — сам на себя.

Кольбен, ни на миг не задумавшись, отбрил:

— Касса закрыта чёрным ключом, кто обзывается, тот ни при чём.

Олежка восхищённо повторил про себя, старательно шевеля губами. А Колька вдруг сделался вдумчивым и ласковым, обнял счастливого Олежку за плечи и повёл по кругу, доверительно выкладывая:

— Слышь, Олег? Будь другом, притартай огурца. — Брови у него извивались, как пиявки, и губы шевелились, как две потресканные пиявки.

— Так у меня нету, — расстроился Олежка.

— А ты в палисаднике стыбзи. А то

будешь жадина-говядина — пустая шеколадина.

— Ладно, я у бабушки спрошу, — потупился Олежка.

— «У бабушки»! Совсем уже? У твоей бабушки... Скажи лучше, что сдрейфил. Трус, трус, карапуз, на войну собрался, как увидел пулемёт, сразу обмарался. Смотрите, граждане, — трус!

Обращения к гражданам Олежка уже не вынес. А Колька тем временем тормозил его: «Что, обмарался? Обмарался?» — и лез щупать Олежкины трусики. Олежка влюблённо, но застенчиво вывернулся и направился к редкому, в крупную, почти символическую клетку забору — палки-кривулины, прибитые к двум горизонтальным жердям. Многие палки были лопнутые вдоль, как сосиски, но не от излишнего полнокровия, а как будто от безнадёжности.

— Куда, куда пошёл! — появилась бабушка, но мир настолько сосредоточился в Кольбене, что Олежка с трудом мог её разглядеть. — Ты чему его обучаешь, сатанёнок сухой? Возьму прут да настаю по заднице по сухой!

Слова её с трудом доходили до Олежки, но он понял их невозможный, кощунственный тон и смысл:

— А я вырву у тебя прут, и останешься без прута! — И почти со слезами: — Почему ты так грубо с моим другом разговариваешь?

— С другом! Не с другом, а отшмутувать его ладом, вот тебе и весь друх.

— Не отшмутувать! Не отшмутувать! Я не буду его шмутувать, моего друга, поняла! Моего друга?! Поняла?!

— «Отшмутувать», — рассмеялся Колька. — Такого русского слова нет!

— Ишь, шкода востроносая! Отшмутую вот, дак будет.

— Не будет! Не будет! — Это Олежка. Он, кстати, не считал Кольку остроносый, и вообще ему казалось, что все ругательства — востроносый, хромой, дурак — означают примерно одно: ты мне не нравишься.

— А ты чего плакал? — Бабушка увидела на Олежином лице капли от kloпa-водомерки. — Он тебе бил?

– Никто меня не бил!

– А ты не покрывай его, не покрывай. Ну? Скажи бабушке правду? Ну? – Бабушка сделалась ласковой и алчной. В серьезных случаях она всегда называла себя в третьем лице, давила чином.

– Я тебе сто раз сказал: никто меня не бил!

– Дурачок маленький! – с невыразимой нежностью и жалостью заключила бабушка, но потом заключила ещё раз:

– Скажу папе, что он тебе бьёт, а ты бабушке правду не хочешь сказать. – С этим бабушка и улетучилась куда-то. Если речь могла иметь несколько красивых завершений – кротких или воинственных, патетических или насмешливых, – бабушка, не желая терять ни одного, использовала их все поочерёдно.

Впрочем, она возникла ещё раз, – наверно, это случилось скоро, судя по тому, что Колян отошёл всего шагов на пять, – ну и Олежка с ним, конечно. Бабушка надела на Олежку панамку, а когда она отошла, Колька снял панамку и закинул, только она была лёгкая и далеко не полетела.

– Да что ж ты делаешь, сухоття?! – удивилась бабушка.

– Ничего, молодой, сбегает, – поощрительно ответил Колька.

– Ничего, я сбегая, – разъяснил Олежка, сияя от радости, и бесшумным вихрем бабушку снова вынесло за пределы мира.

Олежка не сразу нащупал панамку: не сводил глаз со своего сказочно находчивого друга.

Они с Колькой почти ровесники, про них говорят, что они «с одного года», – хоть Олежка и не знал, что, в сущности, означает «с одного года». Но так часто говорили про ровесников, поэтому и он говорил. Они с одного года, а Кольбен всё уже знает, как большой, ну, например, как семиклассник. Или даже как комсомолец. Он знает, сколько было войн: финская, гражданская, немецкая, отечественная и Александр Невский. Он знает все виды немецкого оружия: шмайсер, вальтер, парабел и «Ваню-

ша». А уж русское – это ему знать всё равно что вот столечко, ну вот полминчик. Даже меньше – вот, вот столечко, меньше полногтя. Даже ещё меньше.

Колька срывает одуванчик, пух сдувает Олежке в лицо, а с разломанного стебля велит слизать пахучее белое молочко, и Олежка полчаса не может отплеваться.

– Из него делают горький мёд, – объясняет Колька. – А вот это змеиная трава, из неё делают уксус.

– Мне папа говорил, – робко пытается дополнить Олежка, заслоняясь Папой, который, впрочем, сейчас тоже неуверенно бродил по окраинам вселенной блуждающим огоньком, – мне папа говорил, что уксус тоже получается ещё из вина.

– Что? Ха-ха-ха! Уксус – из вина! Проспись и больше не пей. Вино пьют, а уксуса выпей – все кишки сварятся. – («Откуда Колька всё знает?! Больше папы...») – Ты как скажешь, как в луку... Я могу из этой травы хоть канистру уксуса сделать.

– Конечно, правильно, лучше дома делать, – изо всех сил одобряет Олежка, – в магазине в очереди настоишься – интерес собачий.

– В очереди? Ха-ха-ха! Ну, поздравляю, – Колька кланяется, разведя руками, закатив глаза и высунув язык.

– Не надо, – рассудительно предупреждает Олежка, – а то вдруг тебя напугают, и ты так и останешься.

– Моя мать никогда в очереди не стоит. Как что надо, она сразу, – Колька, поджав губы, принимает деликатный вид: – Зиночка, – тоненьким деликатным голоском, – что у тебя сегодня? – и обыкновенным голосом: – Она ей через головы подаёт, и дело в шляпе.

Олежка внимает.

Кто-то решительно, но дружелюбно обнял их за плечи и голосом сурового человека, не сумевшего сдерживать заслуженной гордости, произнёс: «Сыновья!» Олежка сразу понял, что это Дима или Димас, и что он собирается поиграть с ними «в сыновья». Олежка, понемногу переставая существовать,

поднял голову и увидел мечтательно и гордо устремлённые вдаль глаза Димаса, губы, тоже похожие на уложенных друг на друга красных пиявок, белые, как у свиньи, брови, – кстати, сравнение «как у свиньи» не казалось ему снижающим, он ещё не знал, что сходство может возвысить или опорочить. Щёки Димаса были подёрнуты как бы белой пылью, но не уличной, порошковой, а прекрасно знакомой Олежке подкроватной, подшафной воздушной пылью, – это у Димаса уже начинала расти борода. За верхней Димасовой губой, внутри, начинала вздвигаться ещё одна губа, более пухлая и рыхлая. Снизу её хорошо видно.

– Ну, кто самый храбрый? – возгласил Димас. – Кому залимонить?

– Мне! – просветлев, выступил вперёд Олежка: он знал, что когда речь идёт о подвиге, раздумывать нельзя. Он гордо и печально вскинул голову, стараясь не выдать подмигивающей радости.

– Залимонить? – Смотри, мол, не пожалей.

– Залимонь! – Какой у него замечательный голос, гордый и прощальный.

– Молодец! – с суровым напором похвалил Димас. – Подставляй грудь.

Олежка, скрывая торжество за показной жертвенностью, выпятил грудь. Он вдруг с радостью понял, что по возрасту он уже мог бы почти быть, например, связным у партизан.

Димас хватил его кулаком в выпяченную грудь.

– Ну как? – спросил Олежку с суровым участием, но и напористо, как бы призывая оказаться на высоте своего подвига.

– Нормально, – небрежно ответил Олежка через несколько секунд, которые провёл между жизнью и смертью.

– Молодец! – с суровым торжеством подытожил Димас. – Силач!

– Три года ломал калач, – прибавил Кольбен, но это не уменьшило Олежкиного скромного ликования.

– А ну, теперь ты, Кольбан, – Димас звал Кольку не Кольбеном, а Кольбаном, и в его присутствии Олежка тоже

начинал называть Кольку Кольбаном. Колька, однако, не пожелал воспользоваться счастливым случаем. Своего же везенья не понимает!

– Видишь же, Олегу я залимонил – и ничего, – убеждал Кольбана Димас. – Смотри! Олежка, подставляй.

Олежка снова, торжествуя, выпятил грудь. Когда привыкнешь – ничего. Только несколько секунд не можешь дышать, и всё. Но Кольбана это не убедило.

– Трус вонючий! – с презрением заключил Димас. – У, моща! А Олежка – герой! – чего ещё человеку нужно.

Кольбан смотрел под ноги и в сторону, но всё-таки не пожелал за слова платиться шкурой. Да ещё пробурчал: «Штаны с дырой». Это к герою. У них главное – чтобы рифма. Если есть какое-нибудь слово в рифму, то обязательно надо сказать.

Игра «в сыновья» заключалась в том, что каждое утро, наступавшее очень быстро, – успевали только лечь, и отец Димас испускал протяжный храп, – сыновья уходили на добычу: собирать кости, которые отец Димас потом сдавал в «Утильсырьё». Олежка с Колькой уже знали примерно, когда нужно употреблять слово «Утильсырьё», и делали это всегда кстати, хотя понятия не имели, что оно за «Утильсырьё» такое.

(Они начинали осваивать бесценную человеческую способность обращаться со словами-мыслями, как почтальон с конвертами: переносить их от отправителя к адресату и понятия не иметь, что у них внутри.)

За кости отец Димас брал в «Утильсырьё» рыболовные крючки, очень злые и опасные на вид. Хотя рыба в их краях не водилась, Олежку не удивляло собирание крючков: он прекрасно понимал, что человек может делать что-то и просто так. Особенно если и другие это делают.

В награду же за добытые сыновьями кости отец Димас пускал их на непродолжительный ночлег в специально построенный дом: старые ворота, прислонённые к глиняной стенке сарая, для на-

дёжности подпёртые палкой, и хвалил удачливых добытчиков.

Для начала же Димас зашёл в настоящий свой дом, а им пришлось наводить в доме под воротами порядок (подмести заодно весь Димасов двор): притащить с помойки керогаз и самовар – основу домашнего уюта, сена для постелей, пустые флакончики для красоты и много ещё чего.

Олежке с самого начала стало не скучно, как может быть скучной игра, возглавляемая Димасом, но он начал как-то уходить в себя, засматриваться, задумываться. Из самоварного крана падают капли, – воду в банке Олежка притащил из ручья. Если лечь щекой на землю и смотреть снизу, видно, как после отрыва капли на кране остаётся висюлька, которая, трепеща, быстро вытягивается в кран, становится вогнутой, середина уходит всё глубже, а края сходятся всё ближе, в какой-то миг они соприкасаются – бэмс! – и летит новая капля. На самоварной меди зелёные пятна, это такое растение – питается медью? Галоша возле пересохшей лужи, – лужа растрескалась, и галоша растрескалась. Всю жизнь боролись друг с дружкой, а потом одинаково растрескались.

Кольбан всячески пресекает чем-то подозрительную ему Олежкину задумчивость, обзывает его покойником или «трубом», передразнивает его, тупо разевая рот и выкатывая глаза. Он гоняет Олежку взад-вперёд, и Олежка всё выполняет, но Кольку злит, что Олежка выполняет с меньшей энергией, чем он распоряжается. Он ругается, дразнится, но чувствует в Олежке какую-то недопустимую сосредоточенность, сквозь которую никак не добраться до живого, – словно Олежка удаляется куда-то, куда ему, Кольке, ни за что не попасть – хоть он и бьёт Олежку по всем статьям.

Постепенно до Олежки всё-таки доходит, что Колька командует, и поэтому его долг, вероятно, состоит в том, чтобы сказать «начальник провалился в чайник». Колька, обрадованный, что

вытащил-таки этого полудурка на свою территорию, немедленно откликается:

– Ты сам начальник провалился в чайник.

– Нет, ты не понял, – втолковывает Олежка. – Ведь ты, командуешь, значит, ты начальник.

– Нет – ты, нет – ты, нет – ты.

Олежка ещё не умел наслаждаться истиной в одиночестве и полагал, что истину не признают лишь оттого, что не понимают. Питал, так сказать, просветительские иллюзии. Поэтому он принялся втолковывать ещё старательнее, изо всех сил поднимая брови:

– Раз! Ты! Командуешь!..

– Ты-ты-ты-ты-ты, – заткнул пальцами уши и запел: – Гражданин начальник провалился в чайник, а чайник удивился и в бочку провалился, а в бочке акула ему штаны стянула.

Олежка покатился со смеху... Про штаны всегда смешно. Сидит такой в бочке, а у самого акула штаны стянула. Свечечки в его глазах загорелись привычным восхищением. Он закопошился поживее, тем более, что на крыльце показался Димас. Но всё равно задумчивость в любой момент готова была прорваться обратно.

Загнал в подошву занозу, но здесь, на улице, ему и в голову не пришло устраивать из этого событие. Не дома. Без малейшего усилия подтянул ступню к губам и попытался выкусить. Посмотрел. На серой подошве светился беленький кружок. Поджатые пальцы снизу были похожи на ряд кукурузных зёрен. Ещё повыкусывал. Кажется, достал. Подавил – вроде не колет. Полюбовался, ещё пощипал на всякий случай.

Когда щиплешь, на розовом ногте появляется белый край. Это если щиплешь мякотью пальца – такой щипок называется «шмель». А если щиплешь самим ногтем, твёрдым, – это называется «пчела», шмель-девочка, – то наоборот: краешек розовый, а вся глубь ногтя белая, как очищенный чеснок. Почему так? Он попробовал надавить на ноготь, чтобы он весь стал белый,

но где-нибудь румянец всё-таки оставался. Ну почему? А почему щекотно, когда тихонько проводишь пальцем по коже, — это называется «муха», — а когда сильно — не щекотно? И догадался: это нервы. Он очень обрадовался, навесив на непонятное явление бирку с непонятным словом, — приём опять-таки вполне взрослый.

— Опять заснул?

Олежка бы свалился от толчка, если бы не успел опереться рукой на горячую пыль. Он поднял голову на Кольбана, и тот, видя, что Олежка так и не впускает его куда-то, злобно вытаращил глаза и отвесил нижнюю челюсть, — передразнивает, значит.

— А когда спишь, не знаешь, что ты есть, — вдруг открыл Олежка.

— У, тупарь! — с ненавистью ответил Кольбан. Он хотел расхохотаться, тыча в Олежку пальцем, но смех у него не вышел, и он только повторил, постарев от злости: — У, тупак! — И предупредил: — Будешь засыпать — выгоним на фиг из игры. Скажу Димасу, он тебе навешает.

— Я же всё делаю, — оправдывался он, переступая за Колькой, стараясь наступать на трещины в земле — так меньше припекает, меньше соприкасаешься.

— Ничего, скажу Димасу, он тебе сделает, — обещал Кольбан, и голос у него был удивительно искренний, ни малейшего ломанья в нём не слышалось. И к отцу Димасу он обратился искренне-искренне, с честным возмущением — нет, с честным огорчением.

— Смори, Дима! — кротко и расстроено. — Развалился там, шары вылупил... Мы тут пашем, а он расселся там... — Казалось, сейчас Колька заплачет от обиды. Олежка ждал, потупившись. Страха он не испытывал. Все чувства у него тоже как бы потупились.

— Ладно... — пробурчал отец Димас и захолоптал: — Ё-моё, сыновей надо на охоту собирать, а у меня ещё ни корова не доена, ни пожарть не сготовил. Сейчас, сейчас, детки!

Повозился у керогаза — и всё готово. Наелись досыта — и на добычу. По правилам, надо бы ещё поужинать, пораз-

говаривать, потом лечь спать, и чтобы Димас сказал в себя: хр-р-р, посвистел, почмокал губами и почесал ногу об ногу, а они с Кольбаном кисли бы от смеха, но отец Димас с каждым днём всё упрощал процедуру между выходами на добычу.

И вот они идут за сараями. Даже на тени нельзя смотреть не щурясь. Но только в них ещё сохранились кое-какие краски. Солнце, будто мыло, забирывается в глаза, как ни щурься. Глина на сараях пылает жёлтым, земляная пыль, в которой куры вытерли круглые ямки, — чёрным, жерди на заборах — белым. «Откуда взялась самая первая курица?» — думает Олежка. Со лба его катится пот, но он его не вытирает. Что надо нос вытирать — и то он не усвоил ещё достаточно твёрдо. Подошвы печёт, он идёт, вывёртывая ноги, на наружных сторонах ступни, но ему и в голову не приходит сбегать домой за сандалиями. Он ищет кости. Проходят какие-то взрослые, он их не замечает: они всегда тут ходят. А те: пацанята постоянно здесь крутятся.

Олежка ищет кости. Да он и не ищет, он ждёт. Кольбен неправильно ищет — он больше следит, не нашёл ли Олежка, боится, что Олежка схватит раньше, и к каждой бумажке кидается, кричит: чур, моя! Думает, что это кость. А это на самом деле не кость, а бумажка. А он думает, что кость. Олежка знает, что так нехорошо делать. То есть ему нехорошо, а Кольке, наверно, можно, раз он делает. Но он всё равно ничего не находит. А Олежка ждёт.

Он ждёт и тихонько бормочет про себя: «Господи, помоги мне, Господи, помоги мне». О Господе и Боге он знает, видимо, от бабушки, но точно не помнит. Он всегда про них знал. Но, кажется, знал ещё раньше, что бога не бывает. Бога не бывает, а «Господи, помоги мне» — помогает. Это одно другого не касается. Пошепчешь раз десять — и найдёшь. А в Бога он не верит. Кольбан тоже часто говорит: «Сус Христос» — и тычет себя щепоткой в грудь, в живот — куда попало. Для смеху.

Надо ждать, и твой миг придёт.

Вот и теперь наступил миг, когда он вдруг развёл руками коноплю, мимо которой проходил раз сто, и оттуда злобно оскалился верхней челюстью собачий череп. Олешка нежно прижал череп к влажной груди, по которой пыль уже пошла разводами. Кольбен кинулся в заросли, заранее крича: чур, моё, – и перебрал, ползая на четвереньках, всю коноплю, будто блох искал, а там кукиш с маслом. Это Олешка подумал без всякого злорадства – просто подумал. Плохая привычка часто говорить «кукиш с маслом», подумал он.

А Колька вылез из конопли, где оказалась ещё и крапива, посочувствовал Олешке, какой маленький ему достался череп, добавил, что как раз собирался посмотреть в коноплю.

Надо ждать и бормотать, и наступит миг, когда вдруг что-то тебя толкнёт, и ты поднимешь оторванную крышку от помойки, которая лежит здесь уже лет десять с присохшим к ней мумифицированным капустным листком, а под ней среди сплюсненной бледной травы – кость! – прямо из-под «смерти», – так он называл человеческий череп с трансформаторной будки: таким, мол, станешь, если полезешь. Колька кидается и переворачивает все доски на пути, да ведь не нарочно же под них станут прятать кости. Что, будет такой ходить, что ли? – увидел доску – раз! – и положил туда кость? Никто так не будет ходить. А Олешка тем временем... Ему очень везёт в кости.

И вот у него уже и череп, и позвонки, и бабки. Он еле тащит. А Колька идёт рядом и выпрашивает – растерянно, совсем не ломается:

– Дай, а? А, Олешка? Дай одну, тебя Димас всё равно пустит ночевать. Дай одну, а? А, дай? А то меня не пустит... А?

Олешка изгибается и протягивает Кольке подмышку с зажатой костью из-под «смерти». И Колька сразу веселеет. Но не кривляется, не дразнится. Он мечтает устроить с Олешкой секретный склад костей и каждый раз носить Димасу по одной кости, он ведь и с одной

пускает ночевать... Олешка слушает с сочувствием, но лично его это мало касается: он знает, что всегда наступит миг, когда что-то толкнёт тебя и...

Но ведь бога-то не обманешь – не того, которого не бывает, а настоящего – отца Димаса. Отец Димаса, оказывается, видел, как Колька брал у Олешки кость, – хорошо ещё, что не слышал Колькиных планов насчёт склада.

И он грозитса недостающие кости наломать из Кольки. И, кажется, в самом деле начинает наламывать! – нет, точно! – он же может сломать Кольке руку! или ребро! или печень! Был такой случай: учитель повернул мальчику голову к доске, чтобы он хорошо сидел, а мальчик взял и умер. Потом пришёл милиционер и спросил учителя, что он сделал мальчику. Учитель показал на брата того мальчика – я, говорит, вот так его повернул – раз, и показал. На том, на брате. Он в том же классе учился. Живой, конечно, который остался. Он же не стал бы на мёртвом показывать. А брат – бэмс! – взял и тоже умер. Когда разрезали, оказалось, что у них у обоих в шее были плохие позвонки. Вдруг у Кольки тоже плохие позвонки!

Олешка хочет отвернуться, но не может, он оцепенел от ужаса. Колька лежит подбородком на земле, от шеи к плечам у него, как перепонки, протянулись жилы, словно удила, оттянувшие углы рта. Невозможно слушать, как он верещит. Он визжит, как милицейский свисток, потом переходит на раззявленный сиплый женский бас. Олешка больше не может, сейчас он сам завизжит, бросится и начнёт царапать, грызть – не Димаса, – кто во время грозы станет бросаться на тучи! – разве что на соседа или жену, – он начнёт царапать и грызть пылающую глину на стенке, под которой он сидит. Вот уже что-то безобразное поднимается у него из живота, выворачивает его, распыливает рот. Вот сейчас, сейчас...

Но Димас оставляет Кольку, тот теперь только всхлипывает и подвывает, но это, Олешка понимает, просто официальный ритуал. И безобразное отсту-

пает, уходит обратно, как вода в песок. Олежка чувствует, как к нему возвращается его прежнее «я». Но оно изрядно помято.

Он и раньше чувствовал, что Кольбен мог бы кричать попроще, Димас и с Олежкой такое проделывал – и ничего, даже хорошо. Как будто пытаются фашисты. Но когда человек так кричит, уже всё равно, притворяется он или нет.

Димас уводит Олежку на ночлег («Мой любимый сын», – но это Олежку не радует, он бесчувственно влезает под ворота), а Колька должен всю ночь дежурить у входа. Он стоит с метлой через плечо и всхлипывает, на него напала икота, и он то и дело радостно и звонко вскрикивает в себя, шмыгает носом. С поста ему нельзя уходить, хотя начинается дождь: отец Димас в полосатой солнечной пижаме от щелястых ворот мочит веник в самоваре и, как бабушка перед подметанием, машет на Кольку. А тому всё равно, стоит весь серый от пыли, и там, куда попадают капли, появляются светлые пятнышки с чёрным грязевым ободком.

Колька просит, умоляет – жалобно-жалобно, – чтобы его впустили, он прерывается только на звонкие вскрики в себя. Олежка сейчас сам заревёт от жалости, но этого нельзя, и так Колька дразнит его рёвой-коровой и плаксоиваксой. Олежка находит старый гвоздь и начинает проскребать в глиняной стенке глубокую царапину. Димас замечает, даёт подзатыльник, с горестной лаской гладит раненое место.

После дождя начинается град: в Кольку горстями летят мелкие комочки земли, спёкшейся на поверхности в чёрную штукатурку. Колька начинает приплясывать и подвывать, развозить грязь по щекам. Олежка не выдерживает. Осторожно, чтобы не расплескать слёзы, он вылезает наружу и пробирается за угол. Он ещё успевает услышать, как Димас угрожающе разрешает Кольке войти в дом. Но это уже не имеет значения.

Теперь Олежка сидит в тени, возле открытой двери сарая. В сарае всхрапы-

вает свинья – похоже на Димаса. Он давится слезами, спешит их вытереть, но ладошки сразу же намокают и начинают только размазывать, он переворачивает их, начинает вытирать предплечьями, тоненькими бицепсиками, плечами, но их тоже не хватает.

Ещё непонятная ему тоска душит его, – да и делается ли она понятнее, сделавшись более привычной и узнаваемой! – но это и не совсем жалость к Кольке, потому что жалеть Кольку значило бы обижаться на Димаса, а потом, знает же он, сколько притворства в Колькиных слезах и молениях. Но ему не под силу распутать этот клубок, да он ещё и не умеет разбираться в своих чувствах – он пока умеет только испытывать их. Он весь направлен наружу.

А ведь в любой момент могут заглянуть хоть Димас, хоть Колька, а у него уже ни одного сухого места для вытирания не осталось, кончились уже и колени, и ляжки – позор! Остановить слёзы – он уже махнул рукой – бесполезное дело. Остаётся одно: подыскать для них достойную причину. А где? – ни синяков, ни ссадин на нём нет.

Но это можно устроить – и побыстрей. Лучше всего порезать палец. Плакать из-за пальца тоже не очень-то солидно, но всё же гораздо простительнее, чем реветь, когда тебя вообще не трогают. Он поднимает грязно-белый осколок фарфоровой чашки и, зажмурясь, острым краем давит на подушечку большого пальца левой ноги, и чем сильнее давит, тем сильнее жмурится. Больно, но крови нет, остаётся только вдавленный желобок. Кожа, оказывается, очень толстая. Надо бы резануть, но на это он уже не решается. Снова давит, и снова, и снова. Борьба увлекает его, он пытит, горе его заметно проявляется лишь в том, как он иногда чрезмерно прерывисто переводит дыхание. Ну и, конечно, по грязным разводам на лице, руках, ногах. Но в душе всё-таки осталась какая-то вмятина. Тяжело всё-таки жить в этом мире.

Напротив остановился Димасов козёл с гордо расходящимися ребристы-

ми поперёк рогами, уставил на Олежку злые горизонтальные зрачки. Козёл тоже ровесник Олежки, они с одного года, – а кудлатый, войлочный, с бородой, как у чёрта. Да, вот такие у него ровесники: Кольбен ровесник и козёл ровесник... Все трое они ровесники, а какие разные.

Козёл вдруг закричал: ме-э-э-э, и хлоп – замолк, как отрезало. По лицу его теперь было уже и не угадать, что это он кричал. Закричал он совсем как человек, прикидывающийся козлом. Другие животные так не говорят, как мы про них говорим. Собака, например, не говорит «гав», кошка не говорит «мяу», воробей не говорит «чик-чирик». Они говорят что-то такое, что Олежке никак не сказать, сколько он ни пробовал. А вот козёл так и говорит: «ме-э-э-э». Особенно хорошо слышно «ме». Как будто в нём сидит человек. Недаром у чёрта козлиная борода. А может быть, козёл, и правда, чёрт? Борода ещё...

Олежка сидит, положив подбородок на колени. К нему пристают сарайные мухи, но он их не замечает, только подёргивает по плечом, то коленом. Он и козла почти не замечает. Он переживает своё горе, сосредоточенный, будто перерабатывает его во что-то. А может быть, и вправду перерабатывает? От горя и сосредоточенности он то и дело жмурит то один, то другой глаз, подтягивая к нему замурзанную щёку, и мир ёрзает то влево, то вправо. Возле глаза каждый раз возникают морщинки, вроде тех, что у завязочки воздушного шарика.

Долго-долго он мог бы просидеть так, шепча что-то припухшими губами.

Но тут появился Колька, весь в оспинах от Димасова дождя, – вывернулся из-за угла по-деловому. Хотя Олежка к тому времени уже подсох, Колька мигом оценил обстановку: и Олежкино скромничье исчезновение, и грязные разводы, и подбородок на коленях, и всё ещё горестно припухшие шепчущие губы.

– У, нюня! – Кольбен просто-таки размазал его презрением. Но как-то наспех.

– Я палец порезал, – защищался

Олежка и протягивал Кольбену палец, на котором уже и желобок бесследно затянулся, как на воздушном шарике. Он мог бы напомнить Кольбену, что тот сам только что ревел, как последняя рёва-корова, но, во-первых, Кольбеновы вины он узнавал только от бабушки, а во-вторых, он понимал, что рёв Кольбена был оружием, а слёзы его самого – слабостью. Да, стыд и срам: он переживает из-за чужого горя больше, чем Кольбен из-за своего. И он тыкал Кольбену фарфоровый осколок: – Вот, я на него наступил.

– Рёва-корова, – отмёл весь этот лепет Кольбен. – Рёва-корова, дай молока, сколько стоит, три пятака. – Однако пропел он, хотя и с большим зарядом презрения, но тоже как-то наспех – не похоже на него. Олежка сейчас нужен ему для другого.

– Я тебе угощение принёс, – распорядился он. – Открой рот – закрой глаза.

– Ты сначала скажи, какое, – заранее зная, что это бесполезно, попробовал поторговаться Олежка.

– Закрой, тогда узнаешь.

Олежка, конечно, сильно подозревал, что готовится какая-то каверза, но ведь если не закрыть глаза, то так и не узнаешь, какая именно. И потом, вдруг Кольбен на этот, тысяча первый раз отступит от своих прежних правил? Олежка раскрыл как-то неожиданно нежный среди грязнущих щёк рот, в котором вздрагивал от любопытства язык, розовый в точечках, как клубничина. Веки его с вязью прожилок вздрагивали от усилия держать их закрытыми. Мир стал пустым и оранжевым.

Потом Олежка губами почувствовал Кольбеновы пальцы – и что-то маленькое закрутилось у него во рту, защекотало, затыкалось в щёки, в горло. «К-к-к, к-к-к», – сделал Олежка горлом, и то, щекотящее, вылетело, исчезло. Муха, догадался Олежка.

Кольбен покатывался со смеху: обманули дурака на четыре кулака, а на пятый кулак Олежучий стал дурак. И всё допытывался: вкусно? вкусно? Допытывался не как обычно – просто ехидно,

а с презрением, – видно, не дотратил его во время пения «рёвы-коровы», – может быть, этого презрения ему хватит до конца Олежкиных дней. А Олежка и не понял, вкусно или нет. Вот пауки так едят мух, им, наверно, вкусно. А люди мух не едят. Это всем известно.

А Кольбен, запрокинув голову и сладко жмурясь, принялся глобо-

комысленно жевать – показывал, как Олежка ест муху. Олежка от всей души закатился смехом, выставя напоказ полный рот белых щенячьих зубов. Свечечки в его глазах зажглись привычным восхищением. Только смеялся он чересчур отрывисто.

Олежкина душа в те времена тоже походила на воздушный шарик.

122

Божественный глагол

СЛУЧИЛОСЬ это у бабушки. Не помню, сколько мне было лет, но меня ещё занимало, как далеко я сумею дотянуться ногой со стула, подбоченясь сплетёнными с его плетёной спинкой руками. И мне ещё никак не удавалось оторвать взгляд от проплетённых чёрно-фиолетовыми корнями бабушкиных рук, споро сматывавших в один большой клубок мохнатые нитки из нескольких клубков поменьше, вертевшихся у её ног в облупленной эмалированной миске. Один, покрупнее прочих, смотанный и сам из двух ниток – коричневой и белой, – штриховано-рябой, как колорадский жук, вёл себя ещё посолиднее, зато остальные, мелкота, прыгали бесенятами, скакали друг через дружку, кидались на стенку, пытаясь выскочить наружу.

Поведение клубков отбрасывало и на бабушку некий отсвет легкомыслия, но лицо её, как всегда, выражало одну только примирённость. Непонятно было даже, что ей всё-таки подарить на сегодняшний день рождения.

Кажется, лицо у неё было тёмное, иконописное, высветлявшееся лишь

светлым его выражением. Выражение помнится ещё и сейчас, а лица давно уже нет. Да, подзывала, да, наливала, да, любовалась, да, будто бог весть какое лакомство, совала конфетку-подушечку, выдирая её из поллитровой банки, – всё это было, а лица уже нет...

Самый маленький чёрный клубок ухитряется-таки выскочить из миски и беснуется на полу. Я бросаюсь ловить его – я ещё недалеко ушёл от котёнка, – и тут меня озаряет совершенно взрослая мысль: я напишу бабушке стих!

Про что, с какой такой стати, сумею ли – что за пустяки! Кому и писать стихи, как не мне? И через минуту я уже пятился к выходу, пряча за спиной лист бумаги и огрызок химического карандаша.

В дверях я напоследок окинул бабушкину склонённую фигуру оценивающим взглядом портного, намеревающегося шить без примерки. Позади бабушки на оконном стекле, на ниточке, как прищепки, сушились грибы – чёрные против света. Нотные значки, запятые, холерные вибриончики – арабская вязь.